

РУБЦОВ И БРОДСКИЙ

МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ РАЗВИЛКА ПОЭЗИИ 60-Х

Окончание. Начало — на стр. 1

ХАИМ НАХМАН БЯЛИК, выходец из местечковой России, в начале XX века уехал в Палестину, в 30-е годы он восторгался расовой теорией Гитлера и Розенберга и сочинял стихи и поэмы, ставшие классикой еврейской поэзии.

Одна из сцен поэмы Бялика "Мертвецы пустыни" рассказывает о том, как проводник-араб путешествует с героем поэмы по Синайской пустыне и приводит его в места древнего захоронения, где, полузапыленные песками Синая, лежат громадные остовы падших ангелов-пилигримов, которые, согласно "Книге Бытия", в доисторические времена "входили к жёнам человеческим". Так Хаим Нахман Бялик, тоже путешествовавший "мимо роскошных кладбищ", нашёл самое древнее из них.

*То не косматые львы собралися на вече пустыни,
То не останки дубов,*

*погибших в расцвете гордыни, —
В зное, что солнце струит
на простор золотисто-песчаный,
В гордом покое, давно,
слят у тёмных шатров великаны.*

*Стёр ураган их шаги,
потрясавшие землю когда-то,
Степь затаила дыхание,*

*и скрыла, и нет им возврата.
Может быть, некогда в прах*

*иссушат их ветры востока,
С запада буря придёт, и умчит его пылью далеко,
До городов, до людей*

донесёт и постелет, развеет, —

*Там первозданную силу
растопчут подошвы пигмеев,
Выплжет прах бездыханного льва живая собака,
И от угасших гигантов*

не станут ни звука, ни знака...

Да и сам Иосиф Бродский упокоился тоже как знатный пилигрим нового времени на одном из самых "шикарных кладбищ" мира — в Венеции, в сказочном городе, где жил еврейский ростовщик Шейлок и где рождались в средневековой Европе "ристаллища", "капища", и "бары", и "бани", и "большие базары". Мимо которых несколько веков спустя, как вечные тени легендарного Агасфера, проходили пилигримы Иосифа Бродского...

Но пилигримы Бродского могут иметь не только метафизическую сущность, как некое агасферово братство, но и вполне реальные исторические очертания. Их можно себе представить как ополчение, бредущее под руководством монашеско-рыцарских орденов — тамплиеровского, францисканского, бенедиктинского — на заре раннего средневековья для "освобождения гроба Господня от неверных", а заодно и для завоевания земель и богатств Ближнего Востока... Первые крестовые походы, первая попытка фанатичной европейской церкви покорить племена и народы Третьего мира.

Озлобленные на судьбу "протестанты" всех времён и народов, они могут принимать обличие европейского пуританского спецназа, предавшего огню и мечу цветущий животный, растительный и людской мир Северной Америки; они могут воплощаться в испанских конкистадоров, разрушивших до основания несколько естественных в своём величии земных цивилизаций; они похожи на солдат чёрного интернационала иностранных легионов, державших в рабстве тех африканцев, которым удалось спастись в своих джунглях от североамериканских работорговцев.

Помните гимн этих пилигримов: "День-ночь, день-ночь, мы идём по Африке, день-ночь, день-ночь, всё по той же Африке, и только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на войне солдату"... Но это не просто солдаты. Это хорошо обученные наёмники.

Пилигримы Бродского не имеют отечества; они не знают, что такое вечность, потому что находятся в плену у времени; они, пожиратели пространства, всё время в походе, а это значит, что явления и картины жизни, сквозь которую они проходят — остаются для них чужими и непознанными. У них нет ничего кровного, родного. Это механические супермены цивилизации. Они не молят Бога о милости, но требуют поддержки от него, торгуются с ним ("а значит, не будет толку от веры в себя и в Бога"), не понимая того, что, как сказал один мудрец, "с Богом в карты не играют".

Где только не побывал за свою короткую жизнь пилигрим Иосиф Бродский: в Англии, в Мексике, в Скандинавии, в Испании, в Голландии, в Каппадокии, в Ирландии, в Ирландии, в Италии, в Америке... И, конечно же, в Венеции. И везде отметился громадными полотнами однообразных, но блистательно зарифмованных скептических впечатлений!

II СТАРАЯ ДОРОГА

*Всё облака над ней,
Всё облака...
В тени веков моновены и незримы,
Идут по ней, как прежде, пилигримы,
И машет им прощальная рука.
Навстречу им ионьские денки
Идут в нетпеленной синенькой рубашке,
По сторонам — качаются ромашки,
И зной звенит во все свои звонки,
И в тень зовут росистые леса...
Как царь любил богатые чертоги,
Так поблблбл я древние дорои
И голубые вечности глаза!*

*То полусгнивший встретится овин,
То хуторок с позеленевшей крышей,
Где дремлет пыль и обитают мыши
Да непобитый филин-властелин.*

*То по холмам, как три богатыря,
Ещё порой просканут верховые,
И снова — глушь, забывчивость, заря.
Всё пыль, да пыль, да знаки верстовые...*

*Здесь каждый славен —
Мёртвый и живой!
И оттого, в любви своей не каясь,
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей zenithящей солнечной листвой.
Перекликаясь с теми, кто прошёл,
Перекликаясь с теми, кто пройдёт...
Здесь русский дух в веках произойдёт,
И больше ничего не произойдет!
Но этот дух придёт через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плывут, плывут, как мысли, облака...*

Где и когда написал Николай Рубцов это стихотворение? Попытаюсь представить...

Юный нестеровский отрок вышел с берега Сухоны на старую дорогу через Усть-Топшуму до Николы. Тридцать километров лесом, лугами, распадками, по влажным, наполненным тёмной водой глубоким колеям от когда-то буковавших здесь телег и машин. Мимо заброшенных починков, почер-

невших прошлогодних зародов, серебристых от старости столбов телеграфных. Сколько раз, пока дойдёшь до Николы, присядешь ты у заброшенного овина, то на лесной земляничной опушке, то возле древнего погоста, то у кустов дикой малины. Я представляю его себе усталого, в промокрой обуви, с фибровым чехомоданчиком, где немудреное белышко, да сборник Тютчева, да ворох черновиков. Он бредёт, покачиваясь от усталости, а вокруг "зной звенит во все свои звонки", но зато вглубь зовут "росистые леса", качаются белые ромашки, и, куда ни глянь, всё трогает и волнует душу — и "филин-властелин", и верховые, "как три богатыря", проскакавшие куда-то к дальней кромке горизонта, и тишина.

Здесь каждый славен — мёртвый и живой!..

Редко-редко бывает, если какой-то грузовик догонит студента-пилигрима, шофер высунется из кабины и спросит: "Далеко ли идёшь?"

*Я шёл, свои ноги калеча,
Глаза свои мучая тьмой...
— Куда ты? — В деревню Предтеча.
— Откуда? — из Топтымы самой.*

Он садится в кабину и едет дальше, радуясь, что отдыхает усталое тело, и в то же время смутно понимая, что теряет нечто, не успевая вглядеться в небо, надыхаться ветром, распахнуть душу воле, синеве, зелёному простору.

А потому, не доезжая несколько вёрст до родного села, просит шофёра притормозить и выходит из кабины.

*И где-то в зверином поле
Сошёл и пошёл пешком.*

В отличие от пилигримов Бродского, идущих сквозь безымянные, безвременные и безнациональные пространства, пилигримы Рубцова бредут по русскому, российскому, хотя и запущенному саду с радостной душой, сквозь лесные и травяные райские кущи, в которых нет ни "баров", ни "больших базаров", разве что мелькнут руины архаического быта — "полустгнивший овин", да "хуторок с позеленевшей крышей", да — "знаки верстовые" попадаютсь одне, поставленные, может быть, во времена Разина и Пугачёва. Пилигримы Бродского проходят мимо "роскошных" ухоженных и архитектурно выстроенных мемориалов Западного мира, пилигримы Рубцова — мимо безымянных, уходящих в землю могил ("каждому памятник — крест"), о которых со смирением можно сказать лишь одно: "Здесь каждый славен — мёртвый и живой", то есть повторить другими словами извечную истину: "для Бога мёртвых нет".

Да и сам пилигрим Николай Рубцов, всю жизнь бродивший по русскому православному Белому свету, вернулся на своё вологодское кладбище, отнюдь не "шикарное", что явствует из стихотворения Анатолия Передерева, посетившего в 70-х годах могилу своего друга:

*Лишь здесь порой,
Как на последней тризне,
По стопке выпьют... Выпьют по другой...
Быть может, потому,
Что он при жизни
О мёртвых помнил, как никто другой!*

*И разойдутся тихо,
Сохлая,
Что не покажут уже его руки...
И загремят им вслед своим железом,
Зависеются
Мёртвые венки...*

*Какая-то цистерна или бочка
Ржавеет здесь, забвенною сродни...
Осенний ветер...
Одаёт стирочка:
— Россия, Русь, храни себя, храни...*

...А ведь некогда обе эти дороги вышли из одной точки Бытия, но, потянувшись по историческому пространству к горизонту, с каждым витком всё круче и круче расходились друг от друга...

Народы, как сказал один православный мудрец, "суть мысли Божий". Две дороги, избранные двумя великими народами, воплотились в две Божьи мысли, тайну которых можно будет разгадать лишь в последние времена.

Пилигримы Николая Рубцова — это калики перехоие, облик которых запечатлён в русских былинах и народных песнях... Это люди святой Руси, персонажки не от мира сего, бредущие отмигивать грехи и свои, и своего народа в Киевскую Софию, в Оптину пустынь, в Дивеево к Серафиму Саровскому, а кто и на Святую Землю.

Это некрасовский Кудеяр, ставший молитвенником и строителем Божьих храмов, это очарованный странник Лескова, это князь Мышкин Достоевского и Касьян из Красивой Мечи Тургенева, это боскаки Горького и чеховские герои из повести "Стель", и богомолцы из стихов и поэм Сергея Есенина, это семейство Авакума, бредущего в сылку.

Это люди не времени, а вечности, о которых с такой проникновенной силой написал Алексей Константинович Толстой в одном из лучших своих творений:

*Благословляю вас, леса,
долины, реки, зоры, воды,
благословляю я свободу
и голубые небеса,
и посох свой благословляю,
и эту нищую суму,
и степь от края и до края,
и солнца свет, и ночи тьму.
.....
и в поле каждую вычку,
и в небе каждую звезду...*

Такая вселенская широта души непонятна и не нужна пилигримам Бродского.

III

С будущим нобелевским лауреатом я познакомился через несколько лет после знакомства с Рубцовым в середине 60-х годов прошлого века, когда в редакции журнала "Знамя" зашёл рыжеволосый молодой человек, отрекомендовался и пожаловался на гонения, которым он подвергается в родном городе, и попросил меня прочитать его стихи.

Собственно, это были не стихи, а длинная поэма... Я прочитал её при авторе, поскольку он торопился с отъездом, и сказал ему, что как версификатор он весьма поднаторел в сочинении стихов, но поэма явно несамостоятельна, поскольку написана под сильным влиянием Пастернака и Цветаевой, и посоветовал ему никогда не публиковать её.

Но одновременно мне стало жалко его, почти юношу, за все наветы, вылитые на него ленинградской прессой. А обвинения в "тунеладстве" вообще возмутили меня, поскольку я незадолго до того получил письмо из деревни Никола Вологодской области, где Коля Рубцов тоже жаловался на своих деревенских землячков:

"Я проклинаю этот Божий уголок за то, что нигде здесь не подработашь, но проклинаю молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких (любых, удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить".

Чтобы хоть как-то утешить нервного рыжеволосого юношу, я подарил ему свою книжку "Метель заходит в город" с какой-то душевной надписью, которую забыл (как забыл и сам факт дарения книги), о чём при случайных обстоятельствах вспомнил лет через сорок после этой встречи и лет через десять после его смерти.

Первоначально я хотел назвать эту книгу "Очарованный странник" и открыть её следующим стихотворением.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

*Самолёт пожирает пространство...
Час. Другой. Не видать ни зги,
ни деревни, ни государства,
ни огня — бесконечное царство
бездорожья, тайги и пурги.
Вы, романтики и мореманы,
алкоголики в якорях,
добровольтцы и графоманы,
комсомольцы и капитаны,
вам просторно в этих краях.*

*Места хватает — а это значит,
можно шастать туда-сюда,
кочевать, корчевать, рыбачить
и судьбу свою переначить,
если есть такая нужда.*

*Не хватает нам постоянства,
потому что вёрсты летят,
непрожжённые пространства,
самодетство и святотатство
у России в горле сидят.*

*А когда эта жадная охватит —
до свиданья, родной порог!
Мне хватило, и сыну хватит,
и его когда-то охватит
околесица русских дорог.*

Но сей замысел по разным причинам не осуществился.

А в начале 90-х годов прошлого века у меня случился короткая переписка с Бродским, тогда уже жившим в Америке. Дело в том, что в 60-е годы в Москве жил незаурядный юноша по имени Сергей Чудаков. Сын крупного энкаведэшного начальника, родившийся и выросший чуть ли не в Магадане, он сразу же при первом знакомстве заинтересовал нас (меня, Передерева, Кожинава) многими своими свойствами: несомненной талантливостью, литературным вкусом, знанием русской поэзии, плетейским эстетством, порочным обаянием и даже некоей артистической растленностью. Словом, он был своеобразной русской ипостасью то ли Дориана Грея, то ли одного из братьев Карамазовых.

Кроме Иосифа Бродского с ним были в близких отношениях два Олега — Олег Осетинский и Олег Михайлов, которые считали Чудакова одним из талантливейших поэтов своего поколения.

Этот русский вундеркинд и у меня также вызвал острое любопытство, хотя стихи, которыми он баловался, иногда удивляли свободой, высокомерием и восхитительным цинизмом.

*Ипполит, в твоём имени камень и конь.
Ты возжёг в чреве Федры, как жгущую, озонь.
И погиб, словно пьяный, свалившись в лифт,
Персонаж неопшта, жокей Ипполит.*

*Колесницы пошли на последний заезд.
Зевс не выдаст, товарищ Буденный не съест.
Только женщина сжала проаграммку в руке,
Чуть каннула ногою в прозрачном чулке.*

*Ипполит, мы идём на смертельные виток!
Лязз тюремных дверей и сверканье винтовок.
Автозжигч взрывается: кончен вираж.
Всё дальнейшего — недоступность. Мираж.*

*"Я люблю тебя, мальчик, — сказала она,
Вожделением к мёртвому есь сожжена, —
Мне осталась напиться в ресторане "Бега",
Мне осталась Россия, печаль и снега"*

В 60-е годы мы встречались часто, но потом мой интерес к нему пропал, и мы могли не встречаться годами. Однако я почему-то до конца не выпускал из памяти его джеклодонское лицо, скульпство, белозубое, большезлазое, обрамлённое крупными кольцами каштановых волос, и жалел о его не осуществившейся литературной судьбе.

Иногда до меня доходили слухи, что его то ли судили, то ли собираются судить за тунеладство, или за порнографические фильмы, или даже за сутенёрство. Но мне уже было не до Чудакова. Времена на дворе наступили прозные.

Однако вдруг в конце 1992 года в разгар государственной, бытовой и духовной разрухи я получил от него отчаянное письмо из Чеховского района Московской области, из селения Троицкое-Антропово, из психоблиницы № 5, в котором он просил меня либо вызватьлть его из дурдома (куда он попал как душевнобольной, вместо того чтобы загнеть в лагерь), либо прислать ему немного денег на продукты, потому что кормят в психушке впроголодь.

А ещё в конверте лежало письмо до Бродского с просьбой узнать американский адрес последнего и отослать письмо в Америку. У Бродского Чудаков также просил денежного вспомоществования.

Я выполнил все его просьбы, послал ему денег, свежие журналы и свою новую книжку "Высшая воля" — стихи о смутном времени. В ответ весной 1993 года, когда началось роковое противостояние ельцинского окружения с российским парламентом, я получил от Чудакова очередное послание, которое, в отличие от других, случайно сохранилось в моём архиве.

*"Дорогой Стасик!
Восхищён книгой. Подробности в личном разговоре. Тираж в 5 тысяч оскорбительно мал. Я же писал тебе, что продаю квартиру за 40 тысяч долларов, это будет в апреле, я выписан, дело утверждается в суде. На Пасху мы похристосуемся. Так вот тебе пасхальный подарок: я выпущу книгу вторым изданием (надеюсь с дополнением) тиражом тысяч в 30 и объязуюсь её распространить. Надеюсь ещё и прибыль получить. Пары тысяч долларов на это хватит. Но важно не это. Важно выиграть выборы. Я надеюсь быть одним из анонимных, но деятельных членов твоей избирательной команды. Когда бы ни состоялась голосование — осенью или зимой — победа русского крыла неизбежна. Я надеюсь, ты возьмёшь на себя ответственность быть членом учредительного собрания, сделать это надо в том*



Николай Михайлович Рубцов
(3.01.1936—19.01.1971)

*же окрузе, что и в прошлый раз. Время только
отметтит (или высветит) твою правоту. Я беру на себя всё, что связано с TV (уже продумал, как это сделать в коротких роликах). Ну желаю тебе новых стихов. Прошу сообщить мне адреса, по которым ты отправил мои письма в Нью-Йорк Бродскому и в "Русскую мысль". Олегу (Михайлову. — Ст. К.) привет. Я готов прийти ему на помощь — дать новые темы, женить в третий раз, благословить на рождение наследника (мальчика). В заключение прошу прислать твой журнал № 1—3 за 93 г. и, если можно, любые свежие номера "Литературного обозрения", "Лит. учёбы" и "Вопросы литературы". Я занят только немецким, читать нечего, кроме Евангелия.
Поклон. Сергей Чудаков".*

Наш инфант террибл завёл речь о выборах в Российский парламент, поскольку вспомнил, что в 1990 году я баллотировался в Верховный Совет РСФСР по Дзержинскому округу Москвы и занял второе место из 15, даже опередив таких известных людей, как генеральный прокурор России Трубин или всемирно знаменитый художник Илья Глазунов. На следующий тур голосования нас осталось двое — я и известный демократ, ученик и поклонник Сахарова Михаил Астафьев, который, конечно же, победил меня в либерально-демократической Москве... С той поры я оставил всякую мысль заниматься прямой политической деятельностью и печально улыбулся, прочитав послание Чудакова... Особенно то место, где он писал, что "победа русского крыла неизбежна", к счастью Чудакова, написанное Бродскому, я, конечно же, отослал и вскоре получил от Иосифа ответ, в котором он сообщил мне, что послал денёжак Серёже Чудакову, а заодно вежливо отказался от моего предложения напечататься в журнале "Наш современник", наверное, потому, что смешно и не умно было космополиту Иосифу сотрудничать с русским националистическим журналом. Хотя его стихи, "наиболее русские", написанные в архангельской ссылке, я готов был напечатать безо всяких сомнений.

Письмо Бродского я, к сожалению, по своей безалаберности потерял, о чём до сих пор жалею, потому что оно было документальным свидетельством наших если и не дружеских, но отнюдь не враждебных отношений.

А вскоре пред моими очами возник выпущенный из дурдома несчастный Чудаков, которого я узнал не сразу: его кудлатая крупная голова сжалась, лицо стало похоже на печёное яблоко, руки тряслись. И ни о каких выборах русских патриотов в Учредительное собрание он и не вспоминал... Куда он исчез из нашей жизни и где похоронен — неизвестно, просто пропал без вести, как сотни тысяч людей в ельцинскую эпоху.

Последний, что поддерживал какую-то связь с ним, был Олег Осетинский.

— Мы часто звонили друг другу, иногда встречались, — рассказывал Олег мне. — Я узнал, что после смерти матери он сдал часть своей огромной квартиры каким-то азербайджанцам. А я на несколько месяцев уехал в Америку зарабатывать деньги. Когда же вернулся и позвонил ему, то голос с восточным акцентом ответил мне, что Чудаков продал эту квартиру им, и где он сейчас обитает — неизвестно... С тех пор прошло несколько лет. Был бы жив — объявился бы. Конечно, они его в асфальт закатали...

Это было не первое известие о смерти Сергея Чудакова. Ещё раньше распространился слух о его переезде в иной мир, слух, который настиг Бродского в "американском далеке"... Бродский отозвался тогда на это печальное известие удивительным стихотворением "На смерть друга", где Чудаков — тоже пилигрим, нашедший наконец своё последнее упокоение.

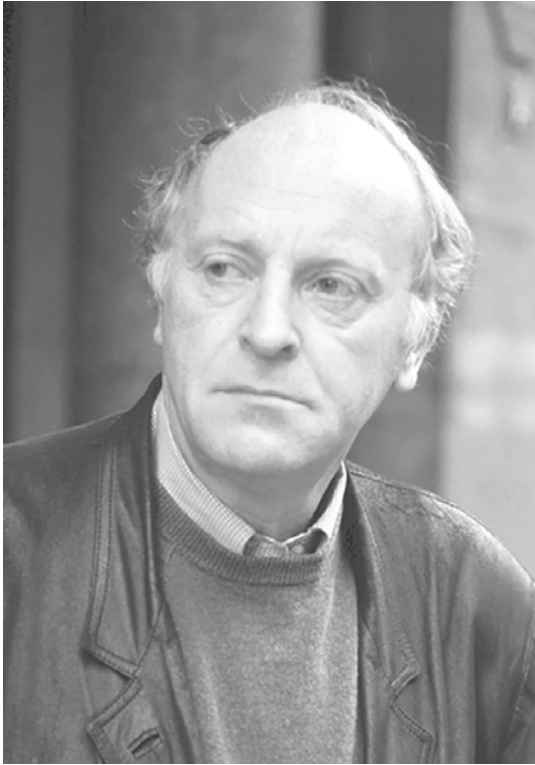
*...да ложится тебе, как в большом оренбургском
платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходиму
и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замершему насмерть в параднике Третьево
Рима.*

*Может, лучшей и нету на свете калитки в Ницто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей
не надо,
вниз по тёмной реке*

*уплывая в бесцветном пальто,
чи застёжки одни и спасали тебя от распада.
Тщётно драхму во рту твоём
ищет угрюмый Харон,
тищётно некто трубит наверху в свою дудку
протяжно.*

*Псылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно.*

И, конечно, весьма странно, а может быть, и поучительно, что в тот исторический момент судьба на мгновенье соединила трёх совершенно разных "шестидесятников" — еврейского юношу Бродского, ставшего впоследствии знаменитым космополитическим поэтом, сына энкаведэшника Сергея Чудакова, анархиста и эстета, ставшего в психушке крутым русским националистом, и Станислава Куняева, который попытался понять и Чудакова, и Бродского.



Иосиф Александрович Бродский
(24.05.1940—28.01.1996)

Следующее виртуальное свидание с Бродским у меня произошло зимой 2006 года, когда я приехал в Питер и остановился в гостинице для паломников в Александро-Невской лавре, где мне вручили литературную премию имени Николая Рубцова. В скромном зале при лавре собрались друзья и поклонники поэта, пришла и дочка Рубцова Лена, которой я тут же передал денежную часть рубцовской премии.

А на другой день мы поехали в Ленинградский университет, посмотреть на недавно поставленный в его дворе памятник лауреату Нобелевской премии.

Николай Рубцову, несмотря на то, что он жил в Питере, работал на Кировском заводе, посещал литературное объединение при заводской многотиражке, никакого памятника в Питере нет... Впрочем, он ему и не нужен. С него хватит памятника в Тотьме на берегу Сухоны, памятника в Вологде на Набережном бульваре, надгробия на вологодском кладбище с барельефом, на котором выложены знаменитые, ставшие чуть ли не поговоркой, слова "Россия, Русь! Храни себя, храни!"

А здесь, в каменном каре Двенадцати петровских коллегий, собралась другая компания скульптур, в которой ему не было бы места.

Монумент Андрею Сахарову со связанными за спиной руками, сваренный из металлических полос и прутьев, не памятник, а скелет из ржавой арматуры, как будто трижды Герой Социалистического Труда прошёл через Освенцим. Слава Богу, что Елена Боннер не видела этот ржавый скелет своего знаменитого супруга... Памятник поручику Кижке — железная связка всяческих ржавых обрезков; памятник молодой ведьме, летящей то ли на бревне, то ли на меле, с сигаретой в руке, с задницей, блестящей от прикосновения студенческих рук.

Ещё несколько уродцев, облик которых я не захотел рассматривать, а имена их разгадывать... Одно слово — пилигримы из стихотворения Бродского. И наконец мои спутники подвели меня к какой-то несладной конструкции: "А вот это, Станислав Юрьевич, Ваш знакомый, великий поэт!"

...На уровне моего пояса на асфальте на попа стоял небольшой чехмоданчик, грубо сваренный из толстых листов ржавого железа. На торце чехмоданчика лежал каким-то образом прикреплённый к нему плоский необработанный камень, а к камню была прикреплена голова то ли из чёрного кокса, то ли из какого-то металла, вся в рывтинах, в оспинах, в коросте; лицо этой головы было запрокинуто к небу, и его украшала счастливая и, несомненно, дебильная улыбка. Глаза на лице были полузакрыты. А сама голова стояла на камне, словно отрубленная... Словом — карикатура. Отвратительнее этого памятника (если суммировать впечатление от него) я видел только две скульптуры: бюст Осипу Мандельштаму в Москве и памятник Чехову в Томске...

Я по-гамлетовски поглядел ладоную скульптуру по шершавой, чуть ли не золотушной голове. "Бедный Иосик... что они с тобой сделали! Похоронили тебя на шикарном кладбище, на которое ты, будучи в сословию честных пилигримов, глядел с угрюмой неприязнью... Но этого мало. Вместо того чтобы извать тебя в человеческом образе, как изваяли Николая Рубцова на его родине, тебе поставили не памятник, а какую-то бесчеловечную карикатуру. Если вспомнить твои строчки: "На Васильевский остров я приду умирать" — ты был достоин лучшего изваяния..."

...Когда я уезжал в Москву, то Володя Бондаренко сказал мне: "Ты зайди на Фонтанку в музей Ахматовой, в нём есть экспозиция "Американский кабинет Иосифа Бродского". На выставке лежит твоя книжечка "Метель заходит в город" с твоим автографом". Ты прочитал его? — спросил я Володю. — Интересно, что я написал Иосифу почти полвека тому назад!" — "Нет, не прочитал, книжка была под стеклом в степлаже, запретом на замок..."

...Мы вскочили в машину и помчались на Фонтанку. Но опоздали. Музей уже был закрыт, и охрана, конечно, не пустила нас в залы, а вечером я уезжал.

Однако я взял у охранника телефон музейной сотрудницы Нины Ивановны Поповой и, возвратившись в Москву, позвонил ей:

— Нина Ивановна! Прошу Вас, возьмите из экспозиции книжек, которые у Бродского были в Америке, мою книжечку "Метель заходит в город" и прочитайте, пожалуйста, какие слова я написал ему на память почти полвека тому назад...

Через минуту приятный женский голос ответил мне:

— Слушаете? Я читаю Вам Вашу дарственную надписи Иосифу Бродскому:

"Иосифу Бродскому с нежностью и отчаянием, что эта книга будет совершенно чужда ему". Я уже тогда понимал, что моя книжечка о России (странно, что он сохранил её для себя) будет чуждой ему так же, как мне со временем стали совершенно чужды его знаменитые "Пилигримы". Странно лишь то, что я до сих пор помню их.

Станислав КУНЯЕВ

Газета "ЗАВТРА" зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС 77-21122 от 24 октября 2005 года. Учредитель и издатель — ООО "Редакция газеты-еженедельника "Завтра" (119146, г.Москва, Фрунзенская наб., 18, пом. VII).

Тел. редакции: (916) 502-49-86.

Адрес редакции: 119146, г. Москва, Фрунзенская наб., 18, пом. VII.

E-mail: zavtra@zavtra.ru Электронная версия: <http://zavtra.ru/>

Служба распространения: